

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Стоило лишь немного уйти в прошлое лагерному этическому кодексу (не верь, не бойся, не проси), как в нашем обществе возник запрос на счастье. Вернее, запрос был всегда, просто люди перестали стесняться своих чувств и стали четче осознавать свои базовые потребности. Однако некоторые психологи утверждают, что погоня за счастьем тщетна, и человечеству для выживания гораздо полезнее противоположные чувства, отрицательные эмоции, в которых есть большой эволюционный смысл.

Так нужно ли счастье человеку как индивиду и человечеству как виду? Создан ли человек для счастья, как птица для полета?

В свое время трезво и решительно настроенные представители тринадцати американских штатов, принимавшие свою Декларацию независимости, которая предопределила дух и нравственный закон новой нации, дали недвусмысленный ответ на этот вопрос: стремление к счастью — это столь же неотчуждаемое право человека, как право на жизнь и на свободу.

Но великий гуманист Короленко недаром снабдил свою максиму продолжением («Но счастье не всегда создано для человека»), обозначив истинное положение вещей. И все-таки запрос на счастье и популярность этой темы не из воздуха возникли. Каждая эпоха нуждается в назывании вслух того, чего ей катастрофически не хватает, это такая привычная бытовая магия. Иногда она работает.

В этой книге на 27 голосов разыгрывается вечная пьеса «Что такое счастье, каждый понимал по-своему» (жаль, что сейчас почти не читают Гайдара, он кое-что понимал в исследуемом предмете). Составитель предполагает, что каждый читатель мысленно дополнит этот хор своим уникальным голосом, своей чудесной историей или своим воспоминанием о том далеком и прекрасном времени, что когда-то составляло его, читателя, счастье. Или же помечтает о том далеком и прекрасном времени, когда его счастье наконец сбудется. Хотя, конечно, в прошлом счастье есть почти у всех, а вот в будущем лишь у избранных.

Как известно, все движется любовью. Любви в этом сборнике много, хотя считается, что литература движется интригой, а несчастье более востребовано литературой, чем счастье.

Возможно, эти свидетельства, представленные в книге, эти надежды авторов и их мечты и есть необходимые и достаточные заклинатели счастья, которые сработают для нас для всех.

Ирина Головинская

ВЧЕРА

КУКУРИ

Когда Сандро понял, что дедушкиной машины нигде нет — после тщательного осмотра и обыскивания двора, гаража, улицы и даже всего большого сада, — он впервые открыто впал в ярость.

То есть раньше он, бывало, злился, но проявлял злость как-то по-северному — замыкался и игнорировал, доводя до бешенства других. До определенного момента этого было вполне достаточно — не так уж часто ему жизнь давала поводы злиться, — но, после того как Дато позвонил и сказал, что дедушки больше нет и Сандро с Мишкой надо ехать на похороны, он немного обуглился, и темное облако заполнило его изнутри.

Я смотрела на него в ошеломлении, хотя отлично его понимала, просто не ожидала, что его прорвет на таком пустяке. Машина! Он и дедушку-то видел последний раз года два назад, что ему та развалюха?!

— Я тебя сто раз просила поехать к ним со мной, они же не вечные, а теперь уже поздно. Сдалась тебе машина! Продали ее.

— И много денег получили? — леденящим душу голосом спросил он и ушел, практически хлопнув дверью.

Не хлопнул, но вообще мог бы.

Папина машина была старой, как чертов котел в аду — проржавевшая от влажного климата, побитая от деревенских колдобин, скрюченная от разного бензина, и только аккумулятор всегда был новенький.

И ее цвет темного шоколада не менялся все 35 лет, что она служила папе Росинантом, — хозяин не любил перемен.

Все дети в семье росли в ней — на ее перекошенных сиденьях, в салоне, пропахшем сеном и дедовой пеной для бритья.

Все дети учились водить машину именно на этом драндулете, на заедающих рычагах и скрипучем руле, и папа знал лучшие места: заброшенный аэродром, безлюдная дорога, сосновый бор на берегу моря.

Особенно, конечно, бор. Он врезан в реальность и в память, как случайная комбинация чисел, открывающая безнадежный сейф.

Там пахло нагретой смолой, йодом, огурцами, ветром и мокрым песком. В самую неподвижную жару среди сосен

слегка сквозило зеленоватой прохладой, как будто там стояла божественная очистка пространства.

Иголки с сосен падали, падали без конца, пружиня под ногами, казалось, что в самом деле это будет длиться вечно — пока мы тут, мы не стареем, не умираем, мы попали в капсулу бессмертия: пока идешь к морю, тени скользят по тебе длинными прохладными полосами, и от предвкушения соленой воды кожа покрывается мурашками.

Море тут было посвободнее, чем на городских пляжах, волновалось яростнее, но при этом волны ложились ниже — пологими изгибами, видимо, дно уходило вниз очень постепенно, давая воде возможность дальнего разгона. Тут и мамушки орали чуть ниже регистром — воздух бил в самый центр тревоги и усыплял ее на время.

— Миша, не бери в море Кукури, — угрожающе попросил Сандрик младшего брата. Тот и ухом не повел: он не расставался с Кукури ни днем ни ночью, как же теперь в воду без него.

— Это не твой Кукури, а мой, — твердо парировал мелкий вредина и зашагал к воде по гальке на полусогнутых ножках.

— Кукури, надо же, — засмеялась я. — А как его на самом деле зовут?

— Берт, — нехотя буркнул Сандрик. — Или Эрни.

— Кукури круче, идеально ему подходит, — закрепляя результат его отхода от гнева, я все же не очень кривила душой: имя и вправду смешное, что тут поделаешь. — Есть не хочешь? Вон продают булочки без кишмиша, как ты любишь.

Сандрик помотал головой и сел на покрывало, уткнувшись подбородком в тощие коленки.

— Как вы мне надоели своими грустными носами! — громко заявила я. — Сидите сейчас полчаса тихо, пока я поплаваю! Па, не пускай их в воду!

Мой папа вытирал платком лысину и смотрел в море, где возле самой кромки прибоя Мишка окунал бедного Кукури.

— Дедуля, потом посадишь за руль? — задрал голову Сандрик.

Папа отрицательно качнул головой.

— Детям до двенадцати за руль нельзя, меня оштрафуют.

— Кукуруза, кукуруза, горячая кукуруза, молочная кукуруза, лучшая на пляже!

— И кукурузу не хочешь? А вообще, где это написано — про руль и двенадцать лет?

Папа прикрыл глаза и сел на бетонную ступеньку пляжной лестницы — это мы думаем, что он крепкий, а если вспомнить, сколько ему лет, то лучше заткнуться и не спорить.

Сандрик посмотрел волком и снова уткнул подбородок в колени.

Я вздохнула и пошла в воду.

Полчаса были мои, только мои. Этот поход на море второй половины дня считался компромиссом — единственно правильным считается утренний, еще до восхода солнца, пока вода прозрачная и теплее воздуха, в нееходишь, как в масло, и без памяти висишь в ней, как в материнской утробе, но, во-первых, детей не отодрать от кроватей так рано, а во-вторых, — море с утра хорошее, а потом накаляется, и возвращаться домой очень жарко и тяжело. Море второй половины дня справедливо считается второсортным — в нем уже наплавались (мама говорит прямо — пописали) миллионы народу, смыли с себя все грехи, и вода, понятное дело, уже не вожденной прозрачности небесной слезы, и все же, как говорит опять-таки мама, море имеет способность к самоочищению — просто эту воду не надо глотать.

— Да, а зачем тогда было все время про чужие писи говорить, теперь они у меня в голове, — ныла я, на что мама вспыхивала и ругала меня слишком нежной.

На самом деле мне все равно, я всегда обрушиваюсь в море так же, как и в свои далекие одиннадцать, когда только уверенно научилась плавать, — падаю, как скала или кашалот, вызывая брызги до неба, мгновенно переходя из нагретого состояния в замерзшее и тут же снова согреваясь, — наверняка я раньше была рыбой или каким-то еще морским зверем.

Нырять до самого дна — лучшее мгновение.

Касаться рукой камней, схватить первый попавшийся, выпускать стайки пузырей изо рта, слушать потрескивание в ушах сквозь зеленоватую стену воды, изогнуть позвоночник всласть, как будто я в самом деле угорь или мурена, перебросить ноги за спину, перекувыркнуться, вынырнуть, впустить полные легкие воздуха, отплеываясь и протирая горящие глаза, помахать детям камнем.

— Па-а-а! Побросаешь нас в воду?

Папа всегда это делал.

Он сначала плыл неторопливо свои туда-обратно, потом окунался с головой, полностью приходил в соответствие

с морем и наконец начинал работать вышкой для прыжков в воду.

Он делал ладони замком, я ставила туда одну ступню, второй упиралась в дно, хватала папу за плечи, раз-два-три — считаем вместе, раскачиваясь на одной ноге, и на последний счет я отталкиваюсь, папа с силой толкает меня через свою голову, и я лечу как можно дальше, стараясь войти в воду «остро», без брызг, сразу уходя ко дну, как стрела.

Сейчас папе тяжелее швырять меня в воду, я не такая легкая, как раньше. Но признать это означает похлопать рукой по татами, поэтому он снимает одежду и входит в воду.

Мне одновременно и хорошо, и тревожно: все как раньше, ура, папа не сдается, но если это в самом деле для него тяжело, а он не признается из гордости?

— Мишка, пойдешь к дедушке на ручки, в воду прыгать?

Мишка не достаивает меня ответом, он не любит, чтобы его трогали в море, поэтому на всякий случай выкарабкивается на берег.

— Я замерз, — сообщает он гордо, оставляет Кукури сторожить место у прибоя и уходит к покрывалу завернуться в полотенце.

— Баклава, баклава, горячий кофе, баклава-а-а! — проходит неопределимой внешности тетка в соломенной шляпе. Уже не спрашиваю, хочет ли Сандрик баклаву — даже если захочет, я против.

Сандрик повеселел и пошел к деду прыгать. Он путается в ногах и руках, дедуля сердится и приводит в пример меня — твоя мама такая ловкая всегда была, как гимнастка, а ты в кого пошел. Сандрик в конце концов ухитряется встать дрожащими ножками-спичками на дедушкины ладони и падает камнем за его спину вниз головой.

Шум, смех, ворчание, плеск.

Я улыбаюсь так, чтобы никто не видел, и снова ухожу на дно — вода заполнила уши, нос, горло, если страдают рыбы и дельфины, я с ними.

Все хорошо.

— Хочу картинки! — слышу сквозь воду Мишкин писк. — Купи мне картинки на руку! Драконе!

Мальчишка-подросток, черный от солнца, как все коробейники, почуял легкую добычу и остановился возле нашего покрывала.

— Стой, иду! Не смей трогать кошелек! — от ныряния голова кружится, шатаясь, я поспешно, насколько это

возможно, выбираюсь из воды и ковыляю по безбожной гальке к месту.

Выбираем картинку, торгуемся, Мишка хочет еще и робота, и розу, и черта лысого, однако удалось уговорить на первоначального страшила — китайского дракончика.

— Сейчас все смоет, потом наклеишь, — Миша упорно твердит, что не смоет, взять бы его и... и потормозить, чтобы прекратил быть занозой.

— Ладно, делай что хочешь, — внезапно я поняла, что могу себе позволить быть беспечной матерью — а что случится-то? От легкости я даже засмеялась. — Давай, показывай своего дракона.

Мишка не удивился, деловито стал приклеивать картинку на руку.

— А где Кукури? — спрашивает Сандрик, стоя в воде.

Мишка ищет глазами там, где он его оставил — пусто.

— Где мой Кукури? — заводит он сирену.

Когда Мишка орет, мне хочется исчезнуть.

Господи, почему блаженство так мгновенно заканчивается? Мир рухнет, если все будет хорошо хотя бы один полный день? Как будто ко мне приставлен бухгалтер из адской канцелярии: стоит за плечом и пристально наблюдает — ага, ага, ей стало полностью хорошо, непорядок, ахтунг, сейчас мы это быстренько исправим на нормальное положение — фиговое.

— Ты еще и орешь?! — возмущается Сандрик. — Это *мне* папа привез, тебя еще на свете не было, а ты отобрал! Все у меня отбирает, а вы ему разрешаете! Еще и потерял, это была моя любимая игрушка! Говорил же тебе — оставь дома, на черта он тебе в море!

Мишка голосит, Сандрик злится, солнце припекает, волосы высохли как на пугале, баклава ходит взад-вперед, истекая сахарным сиропом, вот тебе и законные полчаса наслаждения.

Ищем Кукури. Шарим вдоль прибоя, встаем на цыпочки — а вдруг его унесло волной, осматриваем пляжных бездельников — нигде никаких следов. Настроение поганое, и как это я, взрослая женщина, могла быть такой ротозейкой?

Папа молча наблюдал за всем этим балаганом, вытерся, оделся.

— Пошли, я тебе дам машину поводить, — сказал он Сандро и пошел наверх, к сосновым деревьям.

Секунда на осознание.

Мир снова озарило светом блаженства.

— Правда?! Ура-а-а! Йес, йес! Дедуля меня научит! — вечный копуша молниеносно похватал свои манатки и через минуту сидел за рулем.

Мишка наблюдал за всем происходящим безучастно.

— Вредина ты непослушная, понял?

— Нет, — надменно ответил он.

— Ну то-то и оно, что не понимаешь, — вздыхая, я взяла его за ладошку, и мы пошли наверх.

— Может, Кукури щичас плачет, — внезапно сказал Мишка. — Его жабрал жлой мальчик и брошил его мокрого.

Хотелось съязвить насчет злого мальчика, но все же я не настолько беспечная мать.

— Нет, ему хорошо, Кукури твоему, — придумала я. — Он уже высох, стал красивый, его забрали к другим детям. Они меньше тебя, и у них нет вообще игрушек. И картинок нет. И мороженого даже нет!

Мишка молча переваривал и примерял услышанное к своей реальности.

— Мороженое хочу, сыкалатнае. В штаканчике, — мирно попросил он.

Главное — врать убежденно, подумала я про себя.

Сандрик сидел на водительском месте, вцепившись в руль обеими руками, и сиял глазами, и дедушка рядом строго диктовал, что делать.

Машина то редела, то глохла, то дергалась рывками, то ползла, вечер спускался все ниже, тени становились длиннее и мягче, жара ослабила хватку, отдыхающие лениво перемещались мимо нас, а мы с Мишкой сидели на скамеечке и ели мороженое.

— Ты не любишь сыкалат? — спросил он ревниво, рассматривая мой пломбир.

— Нет, люблю. Просто сейчас не хочу, — сказала я и попросила показать руку с татуировкой: дракончик в самом деле был целенький и не смылся.

— Хочешь тоже машину водить? — осторожно спросила я, но Мишка был спокоен.

— Сандро больфой, а я нет, — кротко ответил он.

Кукури где-то плыл по волнам жизни, оторвавшись от семьи. Нам было жаль с ним расставаться, очень жаль.

На обратном пути Сандрик сидел рядом с дедушкой, как мужчина. Он тоже стал немного хозяином машины — потому что умел ее водить.

— У тебя получится, — сказал ему дедуля. — Я знаешь когда водить научился? В пятьдесят лет, представляешь?

Сандрик смеялся и сиял глазами.

Машина везла нас в длинное, длинное лето, где будет еще бесчисленное множество круглых дней, и только бедный похищенный Кукури потерялся и без слез плакал в разлуке.

— Так зачем тебе дедушкина машина? — спросила я бесцеремонно. — Куда ее девать? Деду было опасно ее оставлять, он мог попасть в аварию, понимаешь? Это не ради денег, господи, смешно даже. Она стоила меньше копеек, но дело не в этом.

— Вы не должны были ее продавать, — только и сказал Сандрик.

Я всегда думала, что он довольно прохладный внук и мало что помнит из своего младенчества. А он помнит.

Папа сидел рядом с моим новорожденным сыном на широком балконе, и на них падали лучи солнца сквозь затейливые виноградные листья и ветки, забравшиеся на высоту с земли по решетке.

Папочка дремал, но даже сквозь дрему качал коляску — совсем слегка, ровно так, как нужно, чтобы младенец уютно надышался свежего воздуха и слегка умотался при качке. В деревне не бывает, чтобы тишина: даже если хрустнула ветка где-то на дороге, длинное эхо подхватит этот звук и пересчитает им все заборы и деревья, и принесет сюда, чтобы разбудить моего маленького. И он немедленно начинал возиться, и коляска, взятая у родственников с соседней горы на время, покачивалась уже не равномерно, а тревожно — дедушка, начинай заново!

Дедушка машинально продолжал качать, напевая что-то бессмысленно-успокоительное — на-на-а-а, на-на-а-а, на-ни-на-а-а, чеми паца багана-а-а. Этот багана думал немножко — уснуть опять или хватит уже хорошей жизни, но дедушка пел животом, большим и теплым, и сон накрывал нас всех тяжелой прозрачной сеточкой, впереди маячило лето, и только индюк-генерал внезапно начинал курлыкать ровно под священным балконом.

Сынок вздрагивал и хныкал, бабушка поминала индюкову родню и весь его род до двенадцатого колена, а дедушка обещал накормить нас всех этим индюком, сваренным в сациви.

Как хорошо, что все это было, как же хорошо. У этого сыночка теперь картинка на телефоне — тот дом, где дедушка охранял его сон, а индюк нагло его разбивал, призывая

чувствовать каждую минуту той прекрасной капсульной жизни.

Там во дворе непременно стояла та самая машина, да. Я глажу эту картинку и прикладываю к сердцу.

На-на-а-а, на-на-а-а, на-ни-на.

ТРИДЦАТЬ ТРИ СЧАСТЬЯ

Ну с заголовком же все понятно, да?

Понятно же, что заголовок этот — перефразированный фразеологизм (ух, как хорошо сказано!), как бы перекодирующий (опять хорошо!) привычное, ставшее практически родным, вроде как растоптанные тапки, состояние хронической епиходовщины в нечто прямо противоположное.

Уф! Я уж думал, что эту самую фразу мне не удастся завершить никогда. Но она, сам не знаю почему, важна для меня. Так что пусть остается. А впредь я обещаю таких неуклюжих и громоздких речевых конструкций не допускать. Тем более что речь тут пойдет вовсе не о тридцати трех, а всего лишь о трех счастьях. Но где три, там и тридцать три. Об этом, в общем-то, и заголовок.

Короче говоря, я расскажу теперь именно три простенькие истории, более забавные, чем поучительные.

А потом, если конечно останется время и будет желание, мы вместе попробуем решить, что же эти истории между собой объединяет. Ведь такие они разные, не связанные друг с другом, казалось бы, ничем — ни общим пространством, ни общим временем, ни тем более схожими сюжетными ходами.

Или же давайте так. Пока я буду рассказывать, мы параллельно задумаемся о том, чего так не хватает нам, вольным или невольным потребителям тяжелой и безысходной информационной пищи, не обещающей просвета, пригибающей к земле, вызывающей кислое ощущение подползающей катастрофы.

В общем, первая история такая.

В детской районной поликлинике, куда мы с мамой пошли, чтобы сделать мне анализ крови, меня на нервной почве вырвало на мамину юбку.

Пока она в туалете отмывала свою юбку, я рассматривал на стенах коридора плакаты про то, что надо мыть руки, фрукты и овощи перед едой.

Когда мы наконец вышли из поликлиники, на рукав ее светлого пальто тотчас же нагадил голубь. Когда она отыскивала в сумке носовой платок, чтобы стереть голубиную какашку, из сумки прямо в весеннюю грязь выпал ее паспорт.

Я в первый и в последний раз услышал, как мама выругалась матом. Для меня это было настолько сильным потрясением, что я сделал вид, будто этого не услышал.

А почему я все это запомнил? А всего лишь потому, что сразу же после этого мама вдруг сказала: «А давай-ка зайдем в булочную и купим торт!»

Это предложение стало для меня еще большим потрясением, чем поразивший меня идиоматический эксцесс. Не бывало ведь такого, чтобы вдруг! Торт! В будний день! Без какого бы то ни было праздничного повода! Ни с того ни с сего! Просто так!

Не бывало такого.

И мы купили торт! Тот самый, любимый, с роскошной ярко-зеленой маргаритиновой розой, цветущей посреди любовно ухоженной бисквитной клумбы. Я знал уже, кому достанется эта пышная роза, я знал уже, кому выпадет счастье с трепетом и вожделием сорвать этот невинный цветок, и я не ошибся.

Счастье ведь? Кто осмелится сказать, что нет?

Теперь вторая история.

С физикой в школе у меня было неважно. То есть даже не неважно, а просто плохо.

А физичка Эльвира Васильевна почему-то относилась ко мне хорошо и ангельски снисходила к полной моей невосприимчивости к своему предмету.

За то, что я все время вертелся на уроке, она называла меня «Вечным двигателем». Вполне, впрочем, добродушно. За то же самое, кстати, учительница географии Ирина Абрамовна называла меня «Круговорот воды в природе», хотя по географии-то я как раз учился хорошо и даже отлично.

А вот с физикой, повторяю, было как-то не очень. Когда я на уроках не вертелся и не болтал то с Шуховым, то со Смирновым, я попросту читал какую-нибудь книжку, держа ее под партой, а Эльвира Васильевна это, разумеется, видела, но виду не подавала.

И я всегда имел у нее твердую надежную тройку. «Сердечное вам спасибо, Эльвира Васильевна», — говорю я здесь и сейчас. Пусть и с большим опозданием, но зато от всего сердца.

Все было, в общем-то, хорошо, но в какой-то момент настало время сдавать выпускные экзамены.

Пришлось сдавать также и физику. А на экзамене всегда присутствовала так называемая комиссия, то есть учителя из других классов, в том числе и по физике, а иногда даже и директор.

Я вытянул билет. Первым вопросом не помню что было. А вот второй вопрос помню хорошо. Он был практическим. То есть мне нужно было из предложенного мне комплекта каких-то деталек, проводков и винтиков собрать детекторный радиоприемник.

Я обреченно сел за парту, перещупал и повертел в руках все эти непонятные штучки-дрючки и наконец в пароксизме панического вдохновения стал наобум соединять что-то с чем-то, в результате чего у меня получилось что-то. Точнее — кое-что. В общем, нечто.

Несомненным признаком успеха показалось мне как минимум то обстоятельство, что ни одной лишней, неиспользованной детали в наличии не оказалось.

Это совсем не то, что уже давняя, но постоянно воспроизводимая в семейных преданиях история о том, как мой старший брат, когда ему было лет восемь, то есть еще до моего рождения, разобрал будильник, а обратно собрать его уже не смог, потому что все время оставалась бесхозной какая-нибудь одна деталь — то одна, то другая, то третья.

А я-то — вон чего!

«Я собрал», — сказал я дрожащим голосом, сам не вполне еще веря в реальность свершившегося чуда.

Эльвира Васильевна быстро подошла ко мне, бегло посмотрела на плоды моей инженерной деятельности, слегка тревожно оглянулась по сторонам и громко, так чтобы услышали члены комиссии, сказала: «Молодец! Правильно!»

Эта похвала настолько меня взбудрила, я настолько уверовал в тот момент во всемогущество человеческого разума вообще и моего в частности, что, не пожелав останавливаться на достигнутом, я решил испытать это чудо техники, для чего напялил на себя наушники и стал нажимать на какие-то кнопки и вертеть туда-сюда какие-то рычажки и кружочки. Не услышав ничего, даже характерного потрескивания, а просто совсем ничего, я зачем-то на весь класс произнес с некоторым даже как бы вызовом, с некоторой даже как бы претензией, относящейся, впрочем, непонятно к кому. Я сказал: «А почему это ничего не слышно?»

Эльвира Васильевна, мгновенно покрывшись пунцовыми пятнами, ринулась ко мне и, не разжимая зубов, прошипела: «Немедленно разбери».

Я как-то сразу все понял. И разобрал.

И комиссия так ничего и не заметила! Или сделала вид, что не заметила — какая разница!

Хорошо помню, что из класса я выходил окрыленный. Еще бы: все закончилось наилучшим образом. А что я так и не собрал приемник, так на черта он мне нужен!

На черта он мне нужен, когда такое счастье — тройка по физике, о самом существовании которой я прямо уже сейчас имею полное право забыть навсегда. Счастье! Счастье в химически... нет, в данном случае в физически чистом виде.

Ну и наконец.

Мой знакомый, житель Вологды, однажды приехал в очередной раз в Москву и в первый же вечер пошел в какой-то ресторан.

Человек он был, в общем-то, выпивающий и в этом состоянии довольно, надо сказать, конфликтный, чтобы не сказать скандальный.

В общем, он там, в этом ресторане, умудрился очень быстро поругаться с одним из посетителей, сидевшим за соседним столом, и они отправились в уборную, чтобы без свидетелей выяснить характер внезапно вспыхнувших между ними неравнодушных отношений.

Сначала, без особых предисловий, ударили его. Потом, соответственно, он. Двинув своему оппоненту по скуле, он с ужасом увидел, как из головы ударенного выпал небольшой шарик, звонко ударился о кафельный пол, пару раз задорно подпрыгнул и шустро закатился под раковину.

Это был глазной протез.

Мой знакомый настолько перепугался, что мигом протрезвел, тут же стал мириться, и они вдвоем принялись рыскать под раковиной в поисках утерянного ока.

И они его нашли! И глаз этот был торжественно инсталлирован на свое законное место. А его совместные и, главное, успешные поиски стали волею обстоятельств причиной не только бурного примирения конфликтующих сторон, но и наметившейся душевной дружбы, за что и было немедленно выпито по бокалу шампанского.

Впрочем, это мой знакомый сказал, что по бокалу. Зная его, я думаю, что не по бокалу. И думаю, что не шампанского. Впрочем, какая разница, когда такое счастье, когда вот же он, мир во всем мире и благорастворение воздухов!

Ну вот...

Так чего не хватает нам? Правильно, нам остро не хватает жизненных сюжетов, которые бы хорошо заканчивались. Не хватает нам историй, пусть и не вполне гладких, пусть даже драматических и временами болезненных, но таких, чтобы непременно со счастливым концом.

Их смертельно не хватает, как не хватает светлого времени суток, как постоянно не хватает нам солнечного света.

Диккенса нам ужасно не хватает. Не хватает нам рождественских сказок. А пуще всего — своих же собственных историй, в силу их мнимой ничтожности и малозначимости не удостоенных входного билета в так называемую Большую Культуру.

Но мы вспоминаем их время от времени, осознав вдруг, что нам это совершенно необходимо.

Потому что счастье надежнее всего прячется до поры до времени в складках и потайных кармашках нашей легкомысленной, безответственной и часто неряшливой памяти, и его не так-то просто отыскать среди мятых бумажек, горелых спичек и засохших яблочных огрызков. Но зато, когда оно вдруг обнаруживается, оно обдает таким жаром!

Давайте вспоминать.

Ира Нахова³

МУКА, ГАГАРИН, БУЛОЧКА И РЕЗИНОВЫЙ КЛЕЙ

Счастье коллективное и счастье
индивидуальное

БУЛОЧКА

Чем дольше живешь, тем представление о счастье становится все более телесным: ничего не болит, температура окружающей среды хорошая, ветерок шевелит за ухом приятно, да и достигается это счастье все больше и больше химическим путем. Таблетками.

Если говорить о предрасположенности людей к счастью, то я — счастливый человек. Мне достался счастливый баланс серотонина, дофамина и эндорфина. Скорей всего, от Исай Михайлыча, моего папы. Мама была человеком, склонным к депрессии, и постоянно была удручена и чем-то недовольна. Я и запоминаю только хорошее, плохое начисто вылетает из головы довольно быстро. Может быть, поэтому я помню не так много из детства?

Что прошло, то будет мило. Но что прошло, и запомнилось. А запомнилось не так чтобы очень много чего. Я иногда пересматриваю папины фильмы 50—60-х годов (8 мм). В этих фильмах я выгляжу счастливой, но из того, что я смотрю, я физически — сердцем и нутром — ничего не помню. Больше всего помню то, что ближе к телу, то есть свою одежду: ее расцветку, колючесть, удобность или неудобность. Помню хлопковые застиранные белые подмышники, которые пришивались к шерстяным тесным кофточкам, из которых я уже выросла, и было противно их надевать, но казалось, что их так и положено носить до застиранного усевшего предела. Правда, в одном кусочке фильма помню Ниду: огромные дюны, горы песка, обдуваемые ветром, и себя, карабкающуюся вверх к вершине. И тепло, и приятность ветра, и хруст песка на зубах, впервые жующих копченого угря, принесенного взрослыми на гору, чтобы торжественно разрезать на мелкие кусочки и попробовать на вершине. А потом сесть на картонку и бесконечно съезжать с горы вниз — вниз — до бесконечности. Как во сне.

Счастье бывает двух видов: счастье приобретения и счастье избавления. В СССР оба счастья присутствовали в несбалансированном виде. Маленькое счастье доставания сервелата не балансировалось счастьем избавления от соседей-алкоголиков, и счастье приобретения новых друзей не сравнится со счастьем избавления от физкультуры на весь учебный год. Какое освобождение было получено с помощью медицинской справки пятилетней давности. Было разумно сохранить за собой репутацию болезненного ребенка после перенесенного в детстве нефрита. Сохраняя болезненный статус, я безболезненно прогуливала школу, виртуозно писала записочки от мамы в течение всех оставшихся лет, до окончания учебы в 44-й школе с преподаванием ряда предметов на английском языке, и особо не обременяла себя присутствием в классе. В освободившееся время я проскальзывала между наблюдателями (школой, родителями, родственниками, друзьями) в пространство, принадлежащее только мне. И там, в этой образовавшейся волшебной самостоятельности, и пребывало удивительное чувство независимости и свободы, где все чувства открывались: вкус становился вкусом, запах — запахом, зрение — зрением. И все предметы запоминались, образы впечатывались в память, и запах прелой листвы в Нескучном саду остался любимым на всю оставшуюся жизнь.

Выход из здания школы сопровождался чувством освобождения, я медленно, принимая вид истомленного болезнью ребенка, проходила школьный двор и, как только меня уже нельзя было увидеть из школьных окон, быстро поворачивала направо к парку и мимо минералогического музея, через дворы проскальзывала на Ленинский проспект к булочной. Ритуал требовал купить батон белого хлеба за 13 копеек и уже с этим батоном отправиться в путешествие по парку, и этот батон непременно съесть.

Было столько невероятно интересных занятий вне обязательного. Это «надо» и «ты должна» всегда воспринималось мной как чужое, наложенное на меня кем-то другим, не мое, а потому враждебное и насильственное. Только занятия, желанные мной, придуманные мной, заслуживали полного внимания, концентрации и времени. Пожалуй, только это время и осталось в моей памяти, все остальное как-то не регистрировалось, и неприятности, связанные с чужим, благополучно улетучивались, выветривались, стирались. Может, поэтому я и не помню свое детство как целое, как отрезок времени. Там все отрывочно,

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru